

КНТОВРАС



Ничейный Федор

Анатолий
Герасименко



Федор сидит на узкой скамье в решетчатой клетушке. По бокам — приставы. В стороне, за высоким черным столом, с золотой цепью на груди — судья. Жарко, окна раскрыты настежь, но забраны железными прутьями, не выскачишь. Судья читает по бумажке: «Рассмотрев дело Феодора Авдеева сына, уроженца села Малые Торжки, обвиняемого в покраже имущества купца первой гильдии Сикомора Матвея Павлова сына...» Федор обводит зал тоскующим взглядом. Вот присяжный поверенный, сидит, бумажкой обмахивается, скучает. Вот заседатели — кто с соседом шепчется, кто каракули на листочке выводит, кто зеваает, рот ладонью прикрывши. Вот купец Сикомор, которого так неудачно он обворовал, в первом ряду: сам гордый, фрак блестит, губа оттопырена. Судья-то, говорят, Сикоморов кум. Ну, держись, Федор... Он еще успевает заметить Ульяну, заплаканную, в сбившемся платке, — и тут слышит: «...Суд установил!» Федор стискивает колени, вжимает голову в плечи. Судья переводит дух и с новой силой, на весь зал объявляет: «Феодора Авдеева признать в покраже виновным и назначить оному наказание в виде превращения магическим способом в коня сроком на пять лет. Приговор исполнить немедленно!»

Оглушительно, точно по самой макушке, стучит молоток. Приставы хватают Федора, заламывают руки. Ему все еще кажется, что это — шутка, что вот-вот рассмеются все кругом и скажут: ладно, прощаем, иди, да больше не балуй! Но лязгает распахнутая дверь, плечистые санитары заносят в клетушку носилки с ремнями. Приставы валят Федора, он кричит от натуги и месит ногами воздух, санитары набрасывают ремни, и остается лишь извиваться, словно гусенице в коконе. Голову тоже стягивают ремнем, в рот заталкивают кляп. Федор видит потолок, густо беленный, в трещинах. Санитары подхватывают носилки, выносят, как покойника, ногами вперед. Он слышит детский, навзрыд, плач Ульяны, гомон заседателей, но звуки уплывают, уплывает потолок над головой, и Федор оказывается в коридоре.

Несут. Приставы шагают рядом, перекидываются словами, один достает семечки, лузгает, сплевывает в кулак. Носилки поворачиваются, наклоняются: лестница. Вдруг становится нестерпимо светло, краем глаза заметен кафельный блеск. Запах — острый, больничный, страшный. Носилки кладут на стол. «Готово, ваше благородие! Этого — в китовраса!» Сверху наклоняется судебный волшебник. Лицо скрыто врачебной маской, видны лишь блестящие маленькие очки и косматые сивые брови. «Кляп уберите». Изо рта выдергивают затычку. Федор ревет от ужаса, дергается, но ремни держат цепко. «Ну-ка, не вертись, голубчик!» — Волшебник хмурится. Грубо нахлобучивают маску, вонючую, тошную. Перед глазами рябит, накатывает темнота. Федор кашляет, захлебывается, давится криком...

— А ну хватит! Хорош! Хорош базлать-то!
Федор дрогнул всем телом, всхрапнул. Открыл глаза.
Сон. Опять.

— Всех перебудил! — недовольно прогудел Македон. — Чего шум поднял?

Федор встряхнул гривой:

— Приснилось. Как превратили.

Сквозь узкое окно конюшни слепило полуденное солнце. Из-за него все вокруг было желтым: и усыпанный опилками пол, и ясли, и струганая решетка денника. «Днем задремал, — подумал Федор. — Жара проклятая!» Из соседнего, по левый бок, стойла заглядывал выпуклым глазом буланый Македон.

— Эх, паря! — протянул он. — Так оно ж всю жизнь теперь сниться будет. Привыкнуть пора.

— Овес, — послышалось из другого стойла, что было справа. Там стоял пожилой мерин Адмирал. Он всегда произносил только одно это слово, будто и не знал других.

— Вот видал я одного, из ваших, — не обращая на Адмирала внимания, продолжал Македон, — тот семерик отмотал, а все, бывало, снилось превращение-то ему. Ну, ты сенца пожуй — и дальше кемарь...

Но Федор уже не слушал. Он вспомнил. Сегодня последний день! Пять лет он ходил китоврасом, пять лет жевал сено и возил на себе Сикомора. С виду обычный, каурой масти конь, на лбу — пятно. Но как раз сегодня истекает срок заклинания, и к вечеру Федор снова станет человеком. Вольным человеком. Как же он забыл?.. Жара сморила, не иначе.

Хлопнула дверь, вошел, крепко, враскачку ступая, конюх Аввакум. Он тоже был желтым от солнца — а может, так лишь казалось, ведь китоврасы неважно различают цвета. Зато силы им не занимать. Ну на то они кони, хоть и волшебные.

— Выходи, — велел Аввакум, подняв тяжелую щеколду на воротцах денника. — Барин покататься хочет. Напоследок.

— Ишь, нейметса ему! — недовольно проворчал Федор. — Оставил бы в последний-то день...

Аввакум, разумеется, лошадиного ржания не понял, а потому ничего не ответил и стал надевать на Федора уздечку. Закончив, похлопал по крупу и повел на двор. День выдался погожий, яркий, и Федор зафыркал, моргая от солнца. Во дворе уже ожидал Сикомор, ходил, заложив руки за спину. Как обычно, вырядился щеголем, на аглицкий манер: серая крылатая визитка, клетчатые штаны с кожаным задом, сапоги модные, выше колена. На указательном пальце золотом посверкивало кольцо — его купец не снимал никогда. Несмотря на солнце, был он застегнут на все пуговицы, и щеки переваливались через стоячий крахмальным воротник.

Тут же вился у хозяйских ног рыжий, облепленный репьями Полкан, повизгивал, напрашиваясь на ласку. Федор Полкана не любил, пес имел привычку хватать лошадей за бабки, а лягнуть его не представлялось возможным: Полкан, как любой подлец, был верток.

Повернувшись всем телом, Сикомор принялся глядеть, как седлают Федора. Дождался, подошел, поставил ногу в стремя и, выдохнув горлом, поднялся в седло.

Поначалу, сразу после превращения, Федор боялся взойти дородного купца: хоть и был конем, по старой памяти мнил себя человеком, только на карачки вставшим. Если пострижешь волосы накоротко, первое время то и дело тянется рука поправить вихор, словно голова помнит, как была лохматой, — так и новоявленный китоврас себя ощущает в старом, людском, теле. Но сила оказалась у Федора и впрямь лошадиная, почти не чувствовал хозяина на спине во время прогулок. Эх, вот бы эта силища осталась, когда придет пора назад в человечка оборачиваться! Да только говорят, что, наоборот, после превращения очнешься слабым, как младенец, и долго еще слаб будешь...

Открыли ворота; Полкан сипло гавкнул, прощаясь. Сикомор тронул Федора пятками, и тот покорно затопал на улицу. Поехали шагом, не торопясь. Вокруг — тихий городишко, невысокие дома с чинными, привядшими от жары палисадниками. Звонарь на далекой колокольне отбивал полдень, акации с шелестом роняли стручки в пыль, стайка воробьев, истошно чирикавая, делила хлебную корку. Тут Федор опять встряхнулся: «Нынче, нынче превращение!» Под шкурой забегали мурашки. Мотнул гривой, проржал коротко. Скорей бы вечер!

Федор от нетерпения стал приплясывать на ходу и украдкой хватать зубами штакетины проплывавших мимо заборов. Сикомор, против обыкновения, его за это не ругал и поводишь не дергал, а только покачивался задумчиво в седле да кряхтел, обдумывая что-то свое. Федор в который раз порадовался, что достался такому спокойному хозяину. Боялся ведь поначалу, что определят в страшную угольную шахту, где лошади таскают вагонетки в крошечной темноте. Когда оказался в тюремной конюшне, все бился, ржал, норовил проломить копытами стены и сбежать на волю... А оказалось — Сикомор тогда специально просил судью окитоврасить Федора. Хотел к себе взять. И вышло, если подумать, совсем даже неплохо. Все пять лет жил Федор в конской шкуре получше многих людей. И то сказать: трехразовое питание, теплое стойло. Полный пансион. Но — нынче превращение!

— Бери влево, Федька. К реке.

Вот за что китоврасов ценят — так это за понятливость. И людская речь, и конское ржание им ведомы одинаково, поэтому хозяину китовраса по-хорошему и уздечка-то не нужна. Федор повернул к реке, перешел на рысь. Здесь дышалось легче, речной воздух разогнал кровь, да и Сикомор повеселел, стал напевать что-то под нос, похлопывая Федора по шее в такт. Вскоре они выехали на берег. Приходилось ступать осторожно: галька под копытами, голыши, того и гляди, ногу подвернешь.

— Стой!

Купец, пыхтя, слез с Федора, который тут же почуял в ногах приятную легкость — вроде и не тяжело всадника носить, а без него все же лучше.

— Что ж, вот и расставаться нам сегодня, Федька.

Федор громко фыркнул, волнуясь. «Скорей бы!..»

— Сослужи-ка, брат, службу напоследок, — попросил

Сикомор и отошел, выискивая что-то под ногами. Вернулся, держа пару одинаковых голышей размером со свеклу. Поставил перед копытами Федора — один камень на другой, пирамидкой. Блеснуло золотом на персте кольцо с гравированными буквами. Купец достал из кармана кусок сахара, положил на верхний камень. Отступил на шаг и спросил негромко:

— Выдать Катеньку за Фрола Кузьмича? У него бакалейный магазин, дом трехэтажный. Немолод, правда, батюшка Кузьмич, да зато умен. Выдать, а, Федя?

Федор запрядал ушами. В народе верили, что китоврасы — скотина вещая. Волшебники этой веры не разделяли, да и вообще к народным приметам относились с насмешливым презрением. Известное дело: волшебники, мудрецы, в университетах по книжкам учатся. Но всякий мужик знает, что в новый дом следует первым запускать кота, в лесу кукушка накукует, сколько лет жить осталось, а китоврасы, кони-люди, — судьбу предсказывают. Сикомор же, хоть с виду и старался походить на аглицкого щеголя, внутри оставался простым русским мужиком.

— Выдать Катьку-то за Фрола?

Федор наклонил голову и аккуратно смел плюшевыми губами сахар. Захрупал. Камни остались лежать один на другом. Сикомор крякнул, цыкнул зубом.

— Она как, — протянул он. — Ну, стало быть, выдам... А может, за Петра Варфоломеича? Он ведь земский гласный, в собрании заседает. Изрядный зять будет, хоть и не шибко зажиточный. Да и Катька по нем вздыхает...

Он порылся в кармане, снова положил кусочек сахара на голыши. Федор склонился, вытянув шею, хотел так же, как в первый раз, бережно взять сахар, но промахнулся на вершок, ткнул храпом верхний камень, и тот скатился вниз. Сикомор вздохнул:

— Ну, так тому и быть. За Фрола так за Фрола. Стерпится — слюбится. А теперь вот чего скажи...

Он поднял упавший голыш, утвердил на втором.

— Война с турками будет в том году? Уж больно возможные статьи в «Голосе» печатают.

Снова появился сахар. Федор изловчился как мог, самыми краешками губ втянул сладкий кусочек, но в этот миг на круп ему сел слепень и уязвил жалом. Федор дернулся, махнул хвостом. Слепень изничтожился, но от неловкого конского движения верхний голыш опять упал наземь. Сикомор перевел дух.

— Не будет, значит, — удовлетворенно сказал он. — Вот и славно. Хватит воевать-то, повоевали!.. Еще вопрос имею...

Федор скосил глаз: Сикоморов карман бугрился от сахарных запасов. Купец напоследок решил, видимо, испросить ответов впрок. Китоврасам при гадании всегда предлагались два поставленных один на другой камня. Если конь ронял верхний камень, это считалось за отрицательный ответ, если же оставлял в сохранности — ответ был положительным. Сахар клали как дань вещи животному, ну и просто для привлечения конского внимания. Никто не знал, почему гадали именно таким способом, но Федор никогда не возражал против дармового сахарку. Да и никто из китоврасов не возражал, ясное дело. Вообще, думал Федор, грызя очередное подношение, вообще, скорей всего, брешут люди про вещей-то китоврасов. Были бы мы вещими — волшебники бы день-деньской гадания устраивали, для министров, для государя. Скажем, захочет государь на турок войной идти, тут же китовраса

ему кличут. Ставят камушки и вопрошают: воевать нам али погодить? Тот камень носом — брык! И не бывать войне... А может, оно так и есть, думал Федор, дотягиваясь до сахара. Может, это только мы не знаем, а на самом деле Русью одни китоврасы правят и государь с министрами — так, для виду. Чтобы турки дурного болтать не начали.

Когда сахар у Сикомора весь вышел, вопросы кончились. Купец, побряхтывая, залез в седло, перекрестился и велел:

— Домой, Федька. Пора.

Такое гадание — как и любое прочее — считалось грехом. Оттого гадал Сикомор нечасто, к вещему коню обращался только с вопросами жизненной важности, а после — долго отмаливал грех в церкви. Бывало, что по результатам предсказания ему не выходило профита, а только убыток. Взять хотя бы казус, когда Федор, обрушив камень, не велел везти голландское кружево поездом. Наняли корабль, повезли товар морем, и все кружево потонуло вместе с кораблем в разыгравшемся шторме. Были и иные происшествия. Сикомор, однако, в таких случаях лишь вздыхал, крестился и твердил: «На то Божья воля! Воздал Господь Матфею-грешнику!» Федору же, как бессловесной скотине, все прощалось. Тем более что кружева-то были застрахованы...

Домой отправились по кружной дороге, небыстрым шагом. Сикомор молчал, раздумывая над полученными ответами, Федора окончательно разморило от душной, звенящей полуденной жары. Он погрузился в тревожную дрему: ни сон, ни явь, а что-то среднее. Умные лошадиные ноги сами несли вперед, в голове же мутилась бессвязная дребедень, из которой порой вырывалось: «Нынче превращение!» Тогда он всхрапывал, просыпаясь, тряс ушами, но духота брала свое, и сонная одурь вновь овладевала им.

За рекой надсадно мычали коровы, где-то в вышине позывали крошечные ласточки. Дорога стелилась под попыта бесконечной песчаной лентой, но вдруг песок сменился травой, и запахло по-особому, знакомо — домом запахло. «В усадьбу воротились», — понял Федор. И точно, перед ним были ворота усадьбы. Почуввав хозяина, залаял приветственно Полкан. Сикомор крикнул людей, подождал, пока откроют, и, въехав на двор, спрыгнул с китовраса наземь.

Подошел Аввакум, принялся расседлывать. Купец, так же, как утром, молча наблюдал за ним, и, когда Федора повели на конюшню, Сикомор не ушел, против обыкновения, переодеться в дом, а последовал за конюхом. Аввакум закрыл денник на засов и, неся под мышкой седло, враскачку вышел вон. Сикомор потянулся над отгородкой, потрепал Федора по гриве, сказал:

— Тебе теперь все дороги будут открыты, брат. С чистого листа жить начинаешь. Гляди, не озоруй!

— Еще чего, — ответил Федор, но, как обычно, вместо человеческих слов вышло: иго-го! Сикомор в ответ невесело хмыкнул.

— Ну как я без тебя, а? Хоть нового китовраса заводи, ей-ей!

— Проживешь как-нибудь, — сказал Федор ржанием.

Сикомор покачал головой, вздохнул и вдруг прижался к конской голове лбом.

— Эх, Федька, Федька! — прошептал он. — Привык я к тебе, к дураку... Ну все, бывай, брат. Бывай.



ФАНТАСТИКА

Отстранившись, он быстрым шагом вышел из конюшни. Федор тряхнул гривой и стал щипать из яслей сено. «Скорей бы», — думал он. В ближнем стойле заворочались.

— Ишь, разобрало его! — заметил Македон. Федор не ответил — был занят, жевал.

— Слышь, паря, — снова начал Македон, — а ты чего на воле делать будешь? Опять за лихое дело возьмешься? Я б на твоём месте домишки выставлял. Карманы в одиночку щипать — мазы нет. А вот домишко богатый обработать по-тихому — самое то. Я-то знаю, я видел...

У Македона была непростая судьба: в малолетстве увели конокрады, затем долго ходил под каким-то разбойником, потом разбойника застрелили, а Македона реквизировали в пользу полицейского участка. Таскать бы ему до конца дней повозку с решетками на окнах, но заметил на улице Сикомор крепкого буланого жеребца — и выкупил. Такой уж был Македон из себя видный, да с норовом.

— Не, дядя Македон, — махнул хвостом Федор, — хватит с меня. Завязал.

— Завяза-ал! — глумливо заржал Македон. — Ну, оно, конечно. Ты ж у нас и так не пропадешь. Ремеслам обучен. Как откинешься — пойдешь на завод гроши заколачивать... Ага?

— Может, и пойду, — мрачно сказал Федор.

— Подымешься, мастером станешь, — издевался Македон, — забуреешь, дом купишь с огородом!.. Лошадь заведешь! Во! А может, и меня у Сикомора перекупишь? Хо-о-о-о!

— Чего зубы скалишь? — всхрапнул Федор. — Отзынь, дядя Македон!

— Овес, — вздохнув, гулко произнес Адмирал в своем деннике.

— Цыц! — велел ему Македон. — Говорить мешаешь... А ты, паря, подумай. Я ж дело советую.

— Ты-то дело знаешь, — огрызнулся Федор. — Тебе сколь годков? Семнадцатый минул? Стало быть, ума палата. Почитай, старик. Скоро на живодерню свезут.

— Да ты че буровишь-то! — возмутился Македон. — Ты на кого, падаль, кашляешь! Да я тебя...

Он принялся с треском лягаться, одновременно силясь просунуть морду сквозь решетку между денниками — хотел укусить Федора.

— Еще тебя переживу, гнида! — визжал он. — Еще на могилку пасть к тебе приду! Китоврас позорный!

— Овес, — слышался невозмутимый голос Адмирала.

— А ну тихо! — Это пришел Аввакум. Шаркая пегими сапогами, двинулся вдоль конюшни. Остановился у денника Македона, не спеша размотал висевший на плече кнут и оглушительно щелкнул. Македон шарахнулся в угол. — От я вам! — безадресно погрозил кнутовищем Аввакум и, харкнув под ноги, удалился. Какое-то время было тихо. Потом Адмирал несмело спросил:

— Овес?..

— Овес, брат, овес, — хмуро ответил Македон. — Нам с тобой один этот овес и жрать до самой смерти. Не то что некоторым.

Все замолчали. В конюшне было жарко, пахло люцерновым сеном, с улицы почирикивали воробьи. Македон с хлопаньем тряс гривой, переживал обиду. «Некрасиво как-то вышло, — подумал Федор. — Последний день видимся, а я нагрубил. Да и он хорош. А, пес с ними со всеми...»

Он снова незаметно впал в сонное оцепенение и увидел себя в прошлом, еще человеком. Вот он идет по ярмарке, ведет под руку Ульяну. Наяву китоврасы различают меньше цветов, чем люди, но сны видят яркие, человеческие. Федору снится: на Ульяне сапожки лаковые, красные, сарафан расшит пурпурными цветами, в косе малиновый бант. Федор шепчет: пойдём, Улья, за шатры целоваться. А потом чего? — спрашивает девчонка весело. А потом видно будет, таинственно отвечает Федор. Ульяна смеется: если что, замуж позовешь? А то как же, скалится Федор, замуж-то я всех девок беру, кого целовал... Ульяна смеется пуще. Да кому ты нужен, Федя, — идти за тебя. На что горазд, кроме разговоров? Ничего же не можешь. Ни кола, ни двора, ни ремесла, из богатства — одни глаза васильковые. А ну! — прикрикивает Федор на глупую девку, разворачивает к себе рывком и, пригнув голову, почти насильно целует. Ульяна все хихикает, губы ее — твердые и шершавые, точно у деревянной куклы. Он тянет руки, хочет взять ее за бока, чтоб убедиться — перед ним не кукла, а живая девушка, но внезапно оказывается, что рук у него нет, а есть передние ноги...

Федор очнулся и обнаружил, что во сне вцепился зубами в решетку яслей. Вот ведь напасть, снова привиделась ярмарка проклятая! Как раз в тот день он и пошел шарить по карманам: хотел покрасоваться перед дурой Ульянкой неожиданными большими деньгами. Гляди, мол, каков а добытчик!.. Покрасовался, чего уж.

— Овес, — пробубнил Адмирал сквозь дрему.

В конюшненное окно лился дневной свет, побледневший, утративший знойную силу. Федор выпустил изо рта обмусоленную решетку, встряхнулся и твердо решил не спать, чтобы не пропустить момент обратного превращения. Он не спал изо всех сил, мерно бил копытом, считал мух под потолком. Глаза слипались, голова кружилась и болела. Все сильнее болела. Федор хотел почесать макушку о стену, но шея почему-то отказалась сгибаться, будто в ней срослись все кости. «Захворал! — с ужасом подумал Федор. — Такой день, и захворал. А ну как помру?»

Заломило ноги, да так, что подкосились. Он упал, сильно ударился грудью о засыпанный сеном пол. Спину пробило судорогой вдоль хребта. Федор скошил глаза и увидел, как укорачиваются ноги, режутся из копыт пальцы, еще по-звериному мохнатые, еще с огромными черными роговыми ногтями, но — пальцы. «Превращаюсь, — сообщил он, — батюшки, худо-то как! Вот отчего тогда волшебник усыплял».

Морду корежило, длинные конские челюсти с хрустом сжимались, плющились, череп трещал, съеживаясь до человеческого размера. Федор не вытерпел, завопил — крик рванулся из человеческого уже горла: «Па-и! Па-и-те!» Никак не вспоминалось забытое слово...

Заржали рядом лошади. Кто-то, шлепая босиком, вбежал в конюшню. Послышались голоса. «Спа-ите!» — провыл Федор.

Все кругом заиграло яркими, забытыми красками, глаза полезли из орбит, съезжая к носу: возвращалось людское зрение. Подбежал телесно-розовый, в синих штанах и алой рубашке, Аввакум. Шатнулся, увидев существо на полу денника, начал креститься, не довел руку, глядя с ужасом. «Спасите!» — сумел наконец выговорить Федор и сомлел.

Очнулся он на закате.

Разлепив веки, со стоном задышал. Приподнял голову, оглядел себя — длинные, худые руки, босые ноги в запекшейся грязи. Потрогал лицо, нащупал нос картошкой, дернул за нечесанные вихры. Пересилив муторное головокружение, сел.

На нем были драные портки с бечевкой вместо пояса и драный же зипун — судя по запаху, тот самый, в котором Аввакум обычно чистил конюшню. Над головой шелестел пальчатыми листьями клен с беленым комлем. Федор узнал этот клен: дерево росло на задах Сикоморовой усадьбы, за забором, где начиналась полоска ничейной земли. Должно быть, его вынесли сюда, бесчувственного, да так и оставили лежать в тенишке. Земля была ничейной, и Федор теперь тоже был ничейным. Возвращаться в усадьбу не стоило, Сикомору он больше был не нужен. В самом деле, ни под седлом ходить, ни на камнях гадать теперь не судьба. Стало быть, надо искать занятие по силам.

«Вот я и снова человек вольный, — подумал он. — Куда ж податься теперь?»

Родители давно уж в могиле, сгорели вместе с домом. После них, правда, остался надел. Да какой надел, одно название: почитай, все прибрал к рукам оборотистый барин, а Федору досталась непаханая делянка у болотца. Без денег, в одиночку ее не поднять. Пять лет назад Федор нанялся бы к кому-нибудь из окрестных помещиков жать хлеб, косить сено или рубить дрова. Он так и жил в ту пору — не думая о том, что станет завтра, стараясь быстрее отделаться от докучливых трудов, спуская каждый вечер все заработанные за день гроши на девок и кабацкие радости.

Но тогда он был крепким, видным парнем, да и одеваться старался не в обноски. В теперешнем виде никакой помещик его и близко не подпустит к хозяйству, а то и собак натравит — в драных портках, грязный да тощий Федор из себя вылитый бродяга, а бродяг господ не жалуют. Можно прибиться к какой-нибудь строительной артели или попытать счастья на вокзале, там всегда нужны люди на разгрузку угля, и берут кого угодно. Но подлое колдовство иссушило мускулы Федора, не оставив им и доли конской выносливости. Сейчас он еле мог встать, опираясь на ствол клена. Что и проделал — кряхтя, с трудом распрямляя затекшую спину, спотыкаясь о собственные ноги. Касаясь дерева, запачкал в известке руку. Хотел обтереть ладонь об Аввакумов зипун, но, утратив опору, едва не упал, проковылял к забору и повис на нем, вцепившись в штакетины.

Нет, уголь ему разгружать не светит. Выходит, остается милостыню просить на церковных ступеньках — рядом с такими же оборванными, калечными нищими. Те примут, они кого хочешь принимают. Небось и прозвище

дадут — «китоврас» или чего похуже... Федор вспомнил Ульяну, как она пришла на суд, как плакала, когда его уносили, бьющегося, на носилках. Нет, не посмотрит на него теперь Ульяна. Гулял с ней тогда лихой да пригожий, а нынче он — хуже загнанной клячи...

Вдали на колокольне часы пробили семь раз. Федор привычно встрепенулся: как раз в эту пору Сикомор любил проехаться в коляске, а то и верхом. Сейчас придет Аввакум, отворит денник, выведет во двор... Но тут Федор опомнился: никто не придет, не будет никакой поездки. Вольная жизнь теперь, так ее и растак!

Из усадьбы послышалось конское ржание: Федор узнал голос Македона. Приникнув лбом к доскам забора, он жалобно заржал под нос — не в ответ, а просто для себя. Забор вкусно пах сырým деревом. Федор изогнул ставшую непривычно короткой шею, оскалился и куснул штaketник. Нахлынуло родное, он что есть мочи сжал зубы, чувствуя на языке кислотину от старой краски. «Ничейный, — думал он, — ненужный». Над ухом зудели комары, но не было хвоста, чтоб их отогнать привычно, а руками — хоть обмашись, всех не разгонишь.

План созрел внезапно. Вспомнилось кольцо Сикомора, заветное, неснимаемое, и днем, и ночью золотым червяком обвивавшее перст хозяина. Федор собрал не Бог весть какие силы и, держась за штaketник, побрел вдоль забора, туда, где, он помнил, была калитка с простой веревочной петлей вместо замка. В сумерках подул ветер, зашелестела кленовая листва, то ли остерегая Федора от будущего поступка, то ли, напротив, одобряя и даже помогая — шуршащий лиственный говор скрадывал шаги.

Федор обогнул курятники, перешагнул низкую загородку бахчи и, давая арбузные плети, пробрался к дровяному сараю. Двор он знал хорошо: уж сколько раз, словно бы невольно отвязавшись, пускался ночью блуждать по огороду и лакомился молодыми огурцами!

Вот с домом обстояло хуже, внутри купеческих хором китовраса делать нечего. Пришлось действовать наугад. В дровянике воняло смолой и пылью, он едва не рассчитался, но, уткнувшись носом в сгиб локтя, подавил чих и стал пробираться меж наваленных поленьев к маленькой дверце в глубине сарая. Выбрался на двор, едва не упал, оступившись. Притаился, выжидая — не залает ли Полкан? Полкан и впрямь тявкнул, но глухо, сквозь сон, и замолк, провалился обратно в дрему. Федор перевел дух. В десятке шагов от него, окруженная кустами жасмина, громоздилась веранда Сикоморова особняка. Федор, пригнувшись, шмыгнул к веранде и залег под оглушительно благоухавшим кустом. До рассвета оставалось совсем немного.

Купец первой гильдии Матвей Палыч Сикомор вставал, по аглицкому обычаю, рано. Выпив кофею с пузатым калачом, он умывался, одевался и ехал в одну из пяти своих лавок, где проводил складскую ревизию, шпынял приказчиков, дотошно проверял гроссбухи, а то и лично вставал за весы, обслуживая покупателей с неизменной сахарной улыбкой, — и так до обеда. Роздых он позволял себе лишь в воскресное утро. Но нынче был аккурат понедельник, а потому Матвей Палыч в шесть пробудился, в полседьмого окончил утреннюю трапезу, к семи завершил туалет, дав лакею Прошке обрызгать себя брокеровским одеколоном «Персидская сирень», и в семь с четвертью вышел на веранду. В конюшне приученный



ФАНТАСТИКА

к распорядку Аввакум уже запрягал Македона. Купцу первой гильдии Матвею Палычу Сикомору оставалось сойти с крыльца и направить стопы в новый, исполненный праведных трудов день.

С крыльца сойти ему не дали.

Из-под жасминовых кустов выросла оборванная вонючая фигура, шатнулась к Сикомору и крепко схватила за руку — верней, за перстень на пальце. В последний раз Матвей Палыч снимал перстень лет десять назад и с тех пор значительно прибавил в весе, так что украшение сидело, как влитое, и никакого грабежа не вышло. Оборванец, невзирая на фиаско, продолжал крепко дергать Сикомора за палец. Купец, вначале отпрянувший назад, оправился от испуга, как следует дал оборванцу в зубы, а потом, пользуясь его замешательством, схватил за шиворот и крепко встряхнул. Тут он разглядел наконец рожу грабителя.

— Ты! — только и вымолвил Сикомор.

— Я! — улыбаясь до ушей, подтвердил Федор.

Купец выпустил ворот его грязнящего зипуна, но Федор, против ожидания, не пустился в бега, а остался на месте.

— Отдавай, батюшка Матвей Палыч, кольцо золотое! — весело завопил он, радуясь, что речь вернулась к нему как раз в нужный момент. — Не то худо сделаю!

Тут Полкан в своей конуре взревел и бешено забился, пытаясь выбраться наружу через узкий лаз. Послышались удивленные возгласы дворовых людей. Сикомор миглом все понял.

— А ну сюда! — перекрикивая Федора, завопил он. — Выручайте, православные! Разбой, грабят! Снова вор окаянный вернулся!

Полкан рвался с цепи, надрывно лаял. Кто-то бежал к ним, громко топоча и отдуваясь, — кажется, Аввакум. В конюшне ржали взбудораженные Македон с Адмиралом. «Овес, — вспомнил Федор. — Скоро уж...» Он снова заулыбался.

— Руку-то пусти, шут гороховый! — негромко сказал Сикомор.

— Не, — покачал головой Федор. — Не поверят же.

— И то верно, — согласился купец. — Держи тогда.

Оглядев Федора с головы до ног, он усмехнулся, проговорив:

— Ишь... Китоврас.

— Ага, — согласился Федор. — Теперь надолго прервутся.

Подбежал Аввакум, скрутил Федора, опрокинул мордой в землю и стал вязать руки вожжами. Лаял Полкан, кричали подбежавшие люди, Сикомор громко, по-театральному охал, выставлял напоказ руку с перстнем, а Федор улыбался, сплевывал пыль и думал: «Скорей бы!..»

